



## <Рец. на:> «Современные записки». XXXVII

«Выходя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи: что же это такое и что с этим делать! Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что же было тогда, когда все это было внове, когда было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха от запаха сырой травы!» Выписывают эти звучные, душистые слова, проникнутые такой жадностью до красоты, таким бунинским волнением, — и кажется, выписал бы, если бы это было можно, одну за другой все эти потрясающие-прекрасные страницы «Жизни Арсеньева», не прицепляя к ним никаких похвал, ибо качество их, высокое их совершенство, вызывает чувство, подобное чувству молодого Арсеньева перед совершенством лунной ночи: не выразить. О смерти и о соловьях, «о бархатно-фиолетовом ящице», где лежит «нечто с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных общлагах руками», и о «весенней свежести, отовсюду веявшей в дом», равно прекрасно пишет Бунин; страшным великолепием, томным великолепием, но всегда великолепием полон его мир, — и читаешь Бунина, словно идешь «по росистой, радужной траве», чувствуя — от почти физического прикосновенья его слов — особое блаженство, особую свежесть.

Следующая вещь в книге — повесть «Анна» Зайцева<sup>1</sup>. Ровный, тускловатый слог этого автора, его благородное дарование лишены пленительности, его герои — латыш Мартынович, помещик Аркадий Иваныч, умирающий от нефрита, докторша Марья Михайловна, сама Анна — не совсем живые, точно автор не додал им дыханья, был чем-то стеснен, создавая их. И если в его повести есть такие превосходные страницы, как, например, описание того, как резали и палили свинью («...сквозь белесую щетину просвечивала розовая шкура»), то есть и такие, где чувствуется влияние шаблонов, литературных традиций. «Анна помолчала, вдруг сказала: “Любовь

страшная вещь”, или дальше: «Всего съедает (любовь). Вот как эту спичечку, — тлеет, золотится...» Эта неестественность портит там и сям приятную зайцевскую повесть.

Засим, — «Московские любимые легенды». Поклонников Ремизова<sup>2</sup> эти легенды (о Николае и его чудесах), вероятно, приведут в восторг; обыкновенному же читателю будет скучновато. Нельзя безнаказанно писать о чудесах: чудесное испаряется. Механическое появление чудотворца Николая, особенно во время кораблекрушения (в новой книге Ремизова «Три серпа», издательство «Тайр», Париж, — корабль тонет Чуть ли не на каждой странице), утомляет и читателя, и чудотворца. Неутомим только сам Ремизов. Нарочитая наивность этих легенд так раздражает, что иное меткое слово автора как-то даром пропадает, теряется в общем докучном узоре. И что уже вовсе неприемлемо — это анахронизмы. Прелесть анахронизмов, встречающихся в древних апокрифах, — заключается в том, что они естественны; там нехитрое воображение преломляет незнакомые образы, превращает пальму в березу. Ремизов же щеголяет сознательными анахронизмами, на фоне древнего быта, для изображенья которого потребовалось глубокое знание старины — я бы сказал, навык старины. Это несомненное знанье и делает его анахронизмы неприятными. Кроме того, в них чувствуется не столько московский быт (как, казалось, должно было быть, судя по заглавию), сколько русский Париж.

Минуя «Тезей» Марины Цветаевой<sup>3</sup>, который вызывает только недоуменье, сильную головную боль да чувство досады за талантливую поэтессу, развлекающуюся темным рифмоплетством, читатель найдет немало хорошего в повести Евангулова<sup>4</sup> «Четыре дня» (о том, как страдал от голода русский эмигрант в Париже) и в рассказе Темирязева<sup>5</sup> «Домик на 5-й Рождественской» (о судьбе обитателей этого домика во дни революции). Повесть Евангулова очень проста, написана без всяких ухищрений, чистым слогом. Прекрасно передана слабость от голода, тошнота, головокруженье, хорош зеленый отсвет листьев в Булонском лесу на лице голодного человека. У автора были, вероятно, затруднения — как кончить повесть (она написана от первого лица). Не мог же герой умереть голодной смертью. Последняя строка объясняет, как он был спасен: «...две пары сильных рук хватают меня за плечи и за ноги и несут куда-то». Удачно ли это?

Рассказ Темирязева ярок и отчетлив, но автору хочется посоветовать отбросить некий прием, которым он пользуется. Вот

образец этого приема: «Спокойствие, спокойствие, спокойствие, твердит Петушков (обнищавший мещанин, которому прохожий бросил в шляпу окурок), продолжая неподвижно стоять... и если рука, державшая шляпу, иногда вздрогивала, то это происходило исключительно от холода или от мускульного напряжения». Вот это кокетливое «исключительно» — прием сомнительный, часто встречающийся, кстати сказать, у Эренбурга. Зачем эта маска, зачем не просто сказать (или показать), что человек был оскорблен, рассержен?

Литературный отдел завершается стихотворениями Ходасевича, Оцупа, Адамовича и Лебедева. Из трех стихотворений Ходасевича первое можно легко выписать целиком: «Лоб — Мел. Бел Гроб. Спел Поп. Сноп Стрел — День Свят! Склеп Слеп. Тень — В ад!» К поэзии оно отношения не имеет, но как шутка высокого мастера — забавно. Зато остальные два стихотворения прекрасны своей точностью и трепетностью<sup>6</sup>. Изумительный поэт.

Все три стихотворения Оцупа пресно-прозаичны. Впрочем, во втором из них (где есть строки «...уже не раз, не правда ли, ночами ты обрывался в сумрак ледяной») Оцуп пытается подражать Ходасевичу — не очень успешно. О двух стихотворениях Адамовича — лучше умолчать<sup>7</sup>. Этот тонкий, подчас блестящий литературный критик пишет стихи совершенно никчемные. Что бы сказал сам автор, если ему пришлось бы, как критику, оценить такие, например, строки: «Кто эта женщина? Зачем молчит она? Зачем лежит она сейчас со мною рядом?» Наконец, стихотворение Лебедева, — «о крыльях», — умело написано, но ровно никакого следа в памяти не оставляет<sup>8</sup>.

